



**В. Ф. ЭРН**

## **Сущность немецкого феноменализма \***

Моя речь «От Канта к Крупну» была посвящена вопросу о непрерывности в развитии немецкой культуры. Она вызвала много недоумений\*\*.

Я не скажу, чтобы все недоумения были одинаково обоснованы. Во всяком случае, некоторая часть их мне представляется относительно справедливой. В краткой речи сколько-нибудь исчерпать столь огромную тему, как связь философии Канта с современным германством, — конечно, невозможно. Моя задача была скромнее: я стремился лишь к постановке этой жгучей темы и к обоснованию ее возможности. Мне кажется, цель эта мною достигнута. Задача моей теперешней речи опять-таки скромная и минимальная. Мне хотелось бы прибавить один существенный штрих к картине, нарисованной в предыдущей речи, и этот штрих будет заключаться в истолковании и объяснении того феноменализма, который составляет ядро теоретической философии Канта и который в своей односторонности неизбежно приводит к *Wille zur Macht*<sup>1</sup> и к блиндированным мечтам о всемирной гегемонии. Кроме того, мне хотелось бы сделать несколько маленьких замечаний, к одному из коих я непосредственно и перехожу.

---

\* Эта речь была произнесена в Петрограде 26 ноября и в Москве 29 января в Рел<игиозно>-фил<ософском> обществе памяти Вл. Соловьева. См. отчет в «Утре России» («Спор о германской культуре». 1915. № 31).

\*\* Евг. Адамов // Киевская мысль. Октябрь; *Эфрос Н.* Кант и Крупн // Речь. Октябрь; *Франк С. Л.* О поисках смысла войны // Русская мысль. XII; *Рысс П.* От Владимира Соловьева к Владимиру Эрну // День. 27 ноября; *Рубинштейн М.* Виноват ли Кант? // Русск<ие> вед<омости>. 1915. № 33) и т. д.

## I

Прежде всего, установление линии, идущей от Канта к Круппу, есть чисто теоретический анализ. С анализом можно не соглашаться, против анализа можно ссылаться на «отрицательные инстанции» — но нельзя анализ рассматривать как практическое посягательство на общепризнанные ценности. Подумать страшно, до какого духовного рабства мы можем прийти из самых возвышенных и мнимо либеральных побуждений, если мы отвергнем право исследователя вынимать музейные ценности даже самой высокой духовной культуры из-под стеклянных колпаков и рассматривать их по существу, как живые силы. Слишком скоро волнующиеся от такого испытательского отношения к великим именам пусть успокоятся от следующего простого различия. «Безумно» и «дико» войти в музей и изрезать, например, «Весну» Боттичелли; и в то же время в высокой степени разумно и совсем не дико подвергать дело Боттичелли теоретическому анализу и утверждать, напр., что глубоко искренен и пленительно задушевен он в картинах на темы античные и манерен и религиозно бессилен в картинах на темы христианские. Критика есть критика, и ставить пределы свободному исследованию это значит решительно отказаться от настоящего испытывания вещей, которое особенно опасно оставлять в такие ответственные и такие подъемные эпохи, как наша.

Второе маленькое замечание исчерпывается упоминанием о двух любопытных фактах. Через две недели после произнесения речи «От Канта к Круппу» телеграф принес известие, что философский факультет Боннского университета избрал докторами *honoris causa* Круппа и директора крупповских заводов Аусенберга. Моя речь как бы предвидела, т. е. предсказала, это событие и обосновала его диалектически, а так как по самому позитивному критерию истинного знания *savoir c'est prévoir*<sup>2</sup>, то это предвидение необходимого философского затмения у интеллектуальных верхов современного германизма должно быть сочтено всяким беспристрастным человеком за косвенное указание верности моих философских «вычислений», хотя бы даже сразу они и не казались принудительно убеждающими. Другой факт заключается в том, что, несмотря на открытую полемику против моей основной мысли, такой вдумчивый и осторожный писатель, как М. О. Гершензон, в своей статье «Уроки войны» признается, что «в грубом и глупом материализме немецких властей» «есть какое-то странное соответствие с новейшими немецкими учениями по теории познания»<sup>3</sup>. Под новей-

шими немецкими учениями по теории познания можно разуметь прежде и больше всего имманентизм, риккерттианство, когенианство — т. е. школы неокантианские. Но школы неокантианские исторически и формально связаны с Кантом, и, таким образом, объективной логикой М. О. Гершензон вынужден признать, что немецкие зверства, т. е. «Крупп» «имеет какое-то странное соответствие» с Кантом, по крайней мере с тем Кантом, который породил «новейшие немецкие учения по теории познания». Если избрание Круппа доктором философии звучит пикантно и для многих неожиданно, то и невольное признание Гершензона не лишено острого и глубоко симптоматического значения.

Перейдем теперь к разъяснению феноменализма.

## II

Чтобы раскрыть сокровенный и корневой смысл феноменализма, я прибегну к описанию его глубочайшей сущности в терминах внутреннего опыта. Слова внутреннего опыта понятны всем, и в то же время они составляют настоящее ядро самых отвлеченных философских понятий, что все больше и больше подчеркивают историки философии. Всякое познание есть взаимоотношение субъекта с объектом. Субъект — это тот, кто познает, объект — то, что познается. Иначе, субъект есть активная форма познания, объект — формируемая материя. Как активная форма субъект есть начало мужское; как формируемая материя объект или действительность есть начало женское\*.

Мужское и женское могут вступать между собою в многообразные отношения. И иные из этих отношений нормальны, естественны, энтелехийны, иные же — неестественны, ненормальны, уродливо односторонни. Мужское может совершенно не считаться с глубинной сущностью и внутренним бытием женского, тогда мы будем иметь насилие мужского начала над женским, некое внешнее порабощение женского начала. Во-вторых, мужское начало, увлекаясь дурными сторонами начала женского и льстя его губительным склонностям к неопределенности и двусмыслию, может вступать с ним в недолжное соотношение взаимного порабощения и взаимной связанности.

---

\* Это понимание познания обосновывается в моей работе «Природа мысли» (Бог<ословский> вестн<ик>. 1913<sup>4</sup>.

Если первый случай есть простое насильничество, то второй случай может быть назван неодухотворенным донжуанством. В-третьих, мужское и женское могут вступать в различные формы земного брака, освященного Небом и в то же время не изживающего ни всей глубины и тайны начала женского, ни всей силы и энергии начала мужского. В этом случае женское естество впервые опознается и признается в своей священной сути и утверждается навеки в аспекте страдного и блаженного материнства. В-четвертых, и это последнее и предельное взаимоотношение, формы земного брака могут быть признаны частичными и предварительными. Под их священными покровами открывается новая и глубинная невестность женского естества и влюбленность мужского, и подлинное и абсолютное соединение между ними переносится в беспредельную заисторическую сферу непостижимого брака Агнца с Церковью.

Было бы очень легко все виды соотношения между познающим субъектом и познаваемой действительностью расклассифицировать по только что набросанной схеме. Я же применю эту схему лишь для разъяснения и раскрытия интересующего нас понятия.

### III

Феноменализм происходит от слова φαίνεσθαι, по-русски — являться. Явление в нашем земном опыте есть пункт соприкосновения или встречи познающего с познаваемым. Кажется бы, эта встреча может быть мыслима по нашей схеме во всех четырех возможностях. К сожалению, философия, которая обыкновенно называется феноменалистической, с исключительным фанатизмом замыкается в первые две возможности и знать ничего не хочет о возможностях последних. Историческую силу феноменалистическая философия получает в Новое время, и здесь она имеет две формы: наивную форму английского эмпиризма и французского энциклопедизма, которые изживают в постепенном развитии различные виды преходящих, легкомысленных связей между познающим субъектом и познаваемой действительностью, и форму ученую, «критическую» в философии Канта, которая с изумительным пафосом возводит в перл создание конкубинат<sup>5</sup> между познаваемой действительностью и познающим субъектом и своим отрицанием самой возможности нормальных отношений между «мужем» и «женою» — узаконяет самые низкие формы блудных отношений,

вплоть до насильнического разрушения Реймского собора снарядами крупновских орудий.

Сущность Кантова феноменализма заключается в том, что процесс частичного отрицания и меонизации познаваемой действительности \*, совершившийся в философии XVII и XVIII веков, находит у него решительное обострение. Познаваемую действительность он объявляет всю и без остатка творимой и созидаемой познающим разумом, непознаваемая же действительность разрешается у него в чистую проблематичность, в трансцендентальный *Grenzbegriff*<sup>6</sup>. Поскольку что-нибудь познается, постольку оно создается, и вне разумного созидания предмета не может быть никакого познания. *In abstracto* этим дается гносеологическая формула и завет такого чистого насильничества над действительностью, при котором женственная сущность сущего начисто отрицается и не признается. Она существует лишь как предмет овладения лишь для осуществления конкубината и действительна только в нем и поскольку он совершается. У Канта этот акт маскируется паутинными формами чувственности и пауциными категориями, и все же деревянный грохот схоластической терминологии и нарочитой абстракции не может заглушить печального жужжания попавшей в эти сети и умирающей в них действительности.

С большою гордостью Кант выставил притязание быть третейским судьей между враждующими течениями предшествующей ему философии. С непоколебимою уверенностью он надел на себя цепь судьи и право или неправо, но произнес свой решительный приговор. Различные нелады между субъектом и действительностью, которые неизбежны были при гносеологическом «донжуанстве» английского эмпиризма и картезианско-лейбнизианского рационализма, Кант, применяя всю полноту судебной власти, решил раз навсегда прекратить формальным провозглашением развода на веки вечные между разумом и действительностью. Кант был слишком деспотичен, для того чтобы покровительствовать «легкомысленным связям». С другой стороны, он был слишком обуреваем традициями новой философии, для того чтоб признать формы священного брака и существенную невестность мира. Ему оставалась только одна дорога: сделав постановление о запрещении брака, устремиться к такому безбрачному овладению действительности, при котором были бы исключены всякие моменты подлинного соединения с объектом. Пафос *Sturm und Drang*'а<sup>7</sup>, как это ни странно,

\* О процессе меонизации ср. мою книгу «Борьба за Логос».

нигде и никогда не достигал такого безграничного обострения, как в Критике чистого разума. Это было абсолютно «гениальное» предприятие. Если София Арну в духе времени называла брак «таинством прелюбодеяния»<sup>8</sup>, то Кант это изречение универсализировал, вознес к снежным истокам национальной мысли и отсюда напоил им многоводные реки дальнейшей немецкой философии. Из судьи, сам того не замечая, Кант сделался блюстителем совокупности отдельных наук. В этом бездушном цикле отдельных обесмысленных дисциплин женственная действительность в своих различных закрытых ликах отдавалась на удовлетворение эротических стремлений научного метода. Философ же в люциферическом «бесстрастии» занимался магией первоначального созидания различных ликов действительности для работы над ними «научного метода». Вся действительность, т. е. весь *orbis scientiarum*<sup>9</sup> со всей деятельностью в нем отдельных наук в последнем счете обратились таким образом в марионеточное марево, вызываемое из не-бытия всемогущей волей трансцендентальной апперцепции<sup>10</sup>, под коей, как «под таинственной холодной полумаской»<sup>11</sup>, мелькают знакомые черты исконного принципиального безбрачника и абсолютно холостяка.

#### IV

Но, несмотря на эти строгие постановления, Кант не оставил своего романа с метафизикой. Он, в самом глубинном замысле своем ее окончательно уничтоживший, не переставал о ней говорить в терминах чрезвычайно странного патологического эроса. Из этого эроса и возник целый ряд в корне испорченных систем метафизики, из коих самая последняя и самая грандиозная есть мечтательное восстание позитивнейшего с виду народа на чудовищно-фантастическое предприятие.

Для меня несомненно, что неслыханное (Кант с полным правом подчеркивает совершенную новизну своего дела) искажение отношений между познающим субъектом и познаваемую действительности не могло быть единоличным делом Канта, несмотря на всю его исключительную гениальность. Философия Канта была не чем иным, как литературной транскрипцией тех сдвигов и перемещений, которые перед тем бытийственно совершились в самых глубоких недрах немецкой нации. Если мы укажем, в чем состояли эти сдвиги, мы разъясним последний уследимый мистико-исторический корень Кантова

дела, закономерно приведший к крупновским манифестациям современного германизма.

Философии Канта в немецком духе предшествовало некое глубинное расстройство того, что может быть названо половым моментом национально-коллективной жизни. Отношения между отдельным субъектом и действительностью могли вылиться в классическую форму Кантовой философии только потому, что в порядке исторического самоопределения немецкий народ несколькими веками раньше возвел в догму аномалию отвлеченной мужественности и отрицание положительной женственной сущности. Через год после своего возвращения из Рима августинский монах Мартин Лютер со всей безудержностью, ему свойственной, перерезал живое духовное питание немецкого организма небесною женственностью Пресвятой и Пренепорочной Девы-Матери, и с тех пор начались трагические блуждания немецкого духа, через «Критику чистого разума» пришедшего к современному гордому предприятию: чистым насилием и одной лишь люциферической, отвлеченно-мужеской техникой своей культуры захватить власть над народами и овладеть Землей.

Вопрос, позволит ли Земля насильнику овладеть своею святою сущностью, — и решается на полях сражения.

## V

Среди возражений, которые мне пришлось читать о моей мысли, одно поразило меня своею забавною серьезностью.

«В самом деле, — говорит г. Пасынков, — почему же Кант с его туманностью и распыленностью, с его системою, плавающей в “хоре стройном светил”, с его ирреализацией земного, предметного, стал вдруг и земным, и реальным». «Между культурой Канта, глаза которого были устремлены к Плеядам, и германским милитаризмом ничего общего не может быть»\*.

Слова о «туманности» очень характерны. Их повторяет другой «критик», г. Брусилловский. «Кант, — говорит он, — вершина, с которой при всем обволакивающем ее тумане расстилаются чудные, притягивающие дали...»\*\*

Я не знаю, о каких горах говорит г. Брусилловский, о трансцендентальных или действительных. Всякий, кто бывал в го-

\* Сарациния // Бирж<евые> вед<омости>. 27 ноября.

\*\* От Канта к Крупну // Речь. 1 декабря.

рах, знает, что присутствие тумана уничтожает всякие дали. Если туман редок и легок, остается виден лишь ближайший передний план. Если тяжел и густ, то не видно уже ничего. Эллины глубоко понимали опасную сущность «тумана». Когда Иксион в святотатственном порыве захотел овладеть Герою, Зевс подsunул ему богиню Нефелу (Облако), и от этого любопытного брака родилось чудовище — Кентавр. Я не спорю против того, что вершина Кантовой мысли действительно покрыта туманом, но, если мы не предпишем себе, чтоб наше рассмотрение кантовского тумана заволакивалось туманом и само было туманным, мы не должны особенно удивляться тому, если диалектическое исследование вместо риторических «далее» увидит в вершине Кантовой мысли те самые мрачные пещеры, наполненные туманом, в коих зародился чудовищный Кентавр современного германизма. И тогда многочисленное потомство этого кентавра — мелкие *blonde Bestien*<sup>12</sup> — окажутся в ближайшем духовном родстве с туманной вершиной немецкой мысли.

Чтоб покончить с туманом г. Брусиловского и перейти к Плеядам г. Пасынкова, я скажу, что сущность кантовского «тумана» как раз и состоит в ирреализации земного. Меонизация внутреннего и внешнего опыта, уничтожение светлых, расчлняющих и организующих онтологических форм действительности, свойственное глубочайшему духу философии Канта, и есть не что иное, как фабрикация меонической туманности, в себе самой несуществующей и в то же время поглощающей все существующее. Насильственный процесс ирреализации земного по светлым законам Олимпа бросает в объятия ирреализирующего тот самый туман (или «Нефелу»), из которого рождается меонический монстр — германский милитаризм. Сама же немецкая мысль ввергается в огненное вращение Иксионова колеса<sup>13</sup>.

Что же касается до Плеяд, на которые устремлен был взор Канта, то одно простое упоминание их ровно ничего не доказывает. Кант с пафосом говорит о звездном небе, но вряд ли найдется другой философ, который бы с такою силою, как Кант, обездушивал и обесмысливал звездное небо. Вечную славу звездных пространств, священной переживаемую древностью, Средними веками и православием, стали расхищать философы Нового времени, и это расхищение до предела своего было доведено именно Кантом. Для Канта звездное небо — только явление чувственности, только голый феномен, беспредельная, холодная пустота, астрономическая карта. Если бы его действи-

тельно волновало звездное небо и он чувствовал его священную значительность и его горний, внутренний смысл, он должен был бы отринуть туман, который вырастал из его феноменализма и чрез который он попадал в объятия Нефелы. От созерцания Плеяд ничего не родилось в философии Канта, а от вершинного «тумана» — весь запутанный железный ее остов, с которого начинается господство германской идеи в истории.

А. Белый остроумно подчеркнул несовместимость звездного неба и феноменализма.

Вдали иного бытия  
Звездоочитые убранства...  
И вздрогнув, вспоминаю я  
Об иллюзорности пространства<sup>14</sup>.

## VI

Теперь, в заключение, позвольте мне сделать еще одно небольшое последнее замечание, которое (если только оно будет услышано!) должно установить правильную перспективу на все вышесказанное.

Я старался установить линию от Канта к Круппу; я указал мимоходом, что у Канта есть предки: Экхарт, Лютер, Бёме. Эту линию я рассматриваю как магистраль, т. е. как большую, широкую и торную дорогу в историческом развитии и в историческом выявлении германского начала. Но магистралью, имеющей огромное и первенствующее значение для внешней судьбы народа, ее прокладывающего, отнюдь не исчерпываются все пути духа в том же самом народе. Кроме указанной магистрали мы имеем еще в немецком народе иные линии духовного развития и иные преюбия. Эти линии исторически малодейственны и тем не менее полны внутренней глубочайшей, а бы сказал, вселенской значительности. Я имею в виду прежде всего чистейшую не только в классическом, но и религиозном смысле линию старой немецкой музыки, а затем светлые вершины немецкой поэзии: Шиллера, Гете, Новалиса.

Мне не хотелось бы, чтоб моя духовная борьба против магистрали: Экхарт, Кант, Крупп, была ложно истолкована как отрицание только что упомянутых благороднейших линий в манифестациях германского духа. Моя вражда не против субстанции немецкого народа, а против его дурной, чудовищной модальности, в которую он оказался теперь вовлеченным своим 70-миллионным составом. И я хочу надеяться, что победа Рос-

---

сии будет не простым сокрушением германского могущества, но и освобождением лучших сторон немецкого духа из-под ига тяжелой, сокрушительной магистрали. Я верю, что и здесь должна проявиться с особым духовным сиянием освободительная миссия православной России. Наше чудесное воинство, подобно своему святому патрону — Георгию Победоносцу, — должно поразить насмерть германского Дракона лишь для того, чтобы освободить его пленниц; среди же пленниц этих находятся не только народности, поработанные тевтонским засилием, но и поработанная магистралью, отдавшаяся Люциферу и духам злобы поднебесной душа самого германского народа.

